

В те уже давние годы писательский Дом творчества в Дубултах, под Ригю, располагался в стареньких уютных домиках. Стремление к общему бараку, поставленному на попу, с одинаковыми комнатами, окнами, дверьми, столами и стульями, с общежитским его комфортом, еще не захватило творческие умы, и мы с женою заселяли узкую комнату на две койки, в домике, по крыше которого шуршал ветрами сосняк, в раму царапались старенькие, скорбные кусты акаций, как бы радующихся нашему приезду и по этому случаю обещающих зазеленеть и зацвести свечным, неярким цветом. Вдруг старый дом закачался, задрожал, от топота посыпалась штукатурка, что-то со звоном упало в коридоре, и в комнату нашу без стука ворвался лохматый человек с горящим взором, сгреб в беремя мою жену и начал ее целовать, потом сгреб меня и тоже начал целовать, крича при этом на весь Дом творчества: – Что ты сидишь, а? Что ты сидишь?! Вимба идет, а ты сидишь! Это был Гарий, мой давний приятель, с которым мы познакомились на какой-то выездной творческой кампании, которой надлежало укрепить творческий дух и взбодрить полет дерзкой художественной мысли. Я с дороги был не в духе, хотел на ком-нибудь выместить свое всем недовольство и раздражение, но со мной была лишь жена, за много лет так вызнавшая меня и приспособившаяся ко мне, что научилась ускользать от возмездия, не хотела быть громоотводом. Я же искал и не мог найти причину для того, чтобы "катануть на нее бочку". И вот Гарий! Не иначе как сам господь бог послал его мне в прицеп. – Ты бы потише, Гарий, насчет женщин. – Но вимба – это не жэншына, это – рыба! – вскричал Гарий и захохотал так, что лохмоты на его голове заколебались, что дым над трубой во время ветра. – А ты думал – латишка, да? О-ой, не могу! – Ну, если рыба, – отдельно и четко сказал я, – тогда ничего. К рыбам русские женщины мужей еще не ревнуют. Цель достигнута, накрыта и поражена. Супруга моя перестала улыбаться, лицо ее сделалось скорбно-мученическим, много и долго терпеливым. Мы выпили с Гарием бутылек. Жена, сделав нам одолжение, чуть пригубила из рюмки и отвернулась к окну, глядела на грустно сникшие за ним прутики акаций и на пылящие под ветром дюны, за которыми стеной стояло серое море, расчерченное нетерпеливыми скобками волн. Ближе к вечеру мы уже ехали на реку Даугаву, где вимба не просто идет, по заверению Гария, прет сплошным косяком по воде, выбирая в плывущей из белорусских болот и озер зелени червей, козявок, мотыля и всякую тварь, годную в пищу. Машину вел друг Гария, Володя. Я сидел впереди, чтоб смотрелась хорошо Латвия... Сзади меня громоздилась крепкотелая, пучеглазая крупная женщина. Ноги ее не вмещались в узком пространстве "Москвича", поэтому были взметены вверх и колени с сохатиной костью касались моего затылка. – Это вот есть латишка, – представил спутницу Гарий, – но не вимба, а Ренита, – и скромно, со вздохом добавил: – Что сделаешь? В машине место свободное, а она от одиночества страдает. У Гария была жена, небольшая, аккуратная, красивая, которую приобрел он, когда "пыл большой и строгой командирфка на севере", но он никогда и никуда не ездил и не ходил без спутниц. Да все выбирал, или они его выбирали – крупных, грудастых, нравом покладистых, на слово скупых. Прибыв на реку, Гарий разбил палатку подальше от стана, в гуще цветущих черемух – "штыбы не смущать нас и природа не тревожить лишним шумом", – пояснил Гарий, настроив транзистор на какую-то здешнюю волну, но которой звучала торжественная музыка, зовущая вдаль, ввысь, может, даже в голубые небеса. Однако из палатки раздался такой могучий храп, что приемник сделалось неслышно, с черемух начал осыпаться белый цвет, с подмытого берега – песок и подсохшие комки глины. – На "скорой помощи" работает, – пояснил Гарий. – Устала. Ночь не спала. Пусть отдохнет, ей предстоит ответственный труд, – и начал снаряжать удочки. О, эти удочки Гария! Они были похожи на него самого: лески в узлах и захлестах, крючки и катушки ржавые, удилища с соскочившими или погнутыми трубочками. Гарий долго ругался на удочки, даже материл по-русски ни в чем не повинные на этот раз торговые организации. А я крыл его. И он наконец протянул мне собранную удочку. – На! Самый лучший удочка, только не ворчи, пожалуйста. – Мои отборные, в Сибири почерпнутые ругательства Гарий посчитал ворчанием. Воспитанный мужик. На противоположном, низком берегу реки, вздыбленном дикими валунами, меж которых рассыпались остатки грязного льда, недвижно, будто изваяния диких и давних времен, еще половецких иль, применительно к месту действия, тевтонских рыцарей, сидели рыбаки, и возникший в болотах туман, наплывая на них, делал фигуры людей еще более загадочными, потусторонне-мрачными. Гарий что-то крикнул по-латышски, ему, короткий и недовольный, последовал из тумана ответ. "Маленько ловится", – перевел Гарий. Но я не поверил ни ему, ни латышам на том берегу – уж очень густо плыла по вздутой речке зелень, химическая по виду, что кисель, тянущая. Какая тут могла быть рыба? Тем более что латыши на том берегу ничего в руках не

держали, удочками не махали, сидели, ждали, туман все плотней обволакивал их и накрывал с головой, будто дыхание с того света дошло до и без того сырой Прибалтики, теплое, навеки все в беспробудный сон и беззвучие погружающее. Но вот в тумане на другом берегу что-то зашевелилось, раскуделило себя и потащило из воды нить, обвешанную зеленью так, что уж казалось, будто рота солдат после длительного похода вывесила на полевой провод дырявые и пестрые портянки. Ранний и теплый туман над водой не держался, отшатывался от холодных камней, ник к нашему прогретому берегу, утекал по ложбинам ко вспаханным полям, касаясь воды, пробно, зябко комкался и, словно тополиный пух на тротуарах, катился по скользкому скату реки куда-то вниз, прячась за островки и мысочки, скапливаясь под ярами, продырявленными еще в прошлое лето ласточками-береговушками, в водомоинах и по кустам краснотала, спутанной ржавой проволокой возникшим из Даугавы. В тумане, в грязных кустах на другом берегу что-то раз и другой бело сверкнуло, разбило завесь зелени, возникли леска, крючки, и на них прыгала, билась рыба, пытаясь сорваться с прогнутой тетивы. – Вимба! – выдохнули разом два берега. Гарий заторопился распутывать удочки, нервно ругаясь попеременно на родном и на русском языке, как бы подтверждая бытующее мнение, что крепче русского матюка нигде ничего нету и по этой части мы давно и прочно держим первенство. – С добычей! – раздались сдержанные возгласы на том берегу и намек на продолжение: – Чтоб всегда клевало! Спустил малое время на другом берегу задрезжал голос, будто плохо прибитое стекло в коммунальной квартире или крышка на закипевшем чайнике, в нем явственный звучал восторг: "Си-ытел рыпак вesse-ллий на переку р-ре-эка-а-а..." – Сам поймал вимба, другие не хочешь, да? – последовало едкое замечание, и певец покорно, однако, чувствовалось, с большой неохотой, смолк. Наконец-то Гарий из пучка удочек собрал еще одну, кою с натяжкой можно было назвать удочкой. Переправив меня, нездешнего человека, обутого по-курортному, на горбу через протоку, указал, чтоб я стоял на середке галечного островка, по мысу вспененного кустарником и остро торчащей из воды осокой, – все равно, сказал, где тебе стоять. Здесь хоть сухо. "Все равно ничего не поймаешь, рыба вимба есть очень умная, и только он, Гарий, знает, где и как ее ловить, да еще маленько волеет – лишь они могут достать рыбки, от которой „все у человека встает в дыбки“". Завершив свою речь оптимистичным русским присловьем, Гарий раскатистым хохотом сотряс тихую Даугаву, но тут же, вспомнив про осторожную, хитрую вимбу, может, и про докторшу в палатке, укротил себя и собрался бресть через протоку обратно. Я остановил его, потребовал червей, посуду под рыбу и объяснений более деловых и подробных насчет характера знаменитой вимбы. Гарий высыпал из коробка спички в карман, загнал в мятый коробок несколько наземных юрких червячков, купленных на рынке, но под рыбу ничего не дал, заверив еще раз, что я все равно ничего не поймаю, так зачем мне таскаться с лишним имуществом? Насчет характера рыбы объяснения его были также емки и кратки: – Когда я был польшо-ой и строгой командиром Комиэсесэр, ловил там рыба под названьем "харьюс" – маленько напоминает. – Так за каким лядом ты меня поставил на отдели, когда есть стрелка острова, и, если ловить по уму, надо ловить на выносе... – Какая тебе расница? Все равно ничего не поймаешь. Сдесь мелко. Ты не утонешь – я отвечаю за тебя перед жена. Я послал Гария далеко, и он охотно удалился, насвистывая чуть слышно тот самый боевой марш, что подавила своим храпом его могучая спутница. Шаги Гария и хруст камней под его сапогами скоро утихли. Рыбаков на другом берегу совсем сделалось не видно. Реку сжало, сузило с обеих сторон, и только пронос ее, самая середина, упрямо темнела, шевелилась, завертывая воду в клубы, разваливая, будто плугом, стреле ее на два пласта, обнажая с исподу реки космы зелени, развешивая их на кусты, на осоку, застилая жидким киселем водорослей белеющий на обдувах камешник, приплески, мысы и обмыски. Берега Даугавы сплошь были в слизи, вода шла на убыль, катилась в трубу. Вместе с большой водой следом за зеленью скатывалась и рыба, выбирая из озерного и болотного хлама остатки корма, порой заглывая и зелень – по выбору. Клев вимбы был на исходе, в прогретую у берегов отмель, в болотистые разливы уходили и выдавливали икру в старую траву и меж калужниц плотва, язь, голавль, шатая кочки, будто подгнившие пни, возились в затопленных болотах щуки. Самцы, поймавшись за нагрудный плавник брюхатых щучиц, изнуляли их своей рыбею неумной страстью и, оплодотворив молоками икру, сонно шевелили жабрами, отдыхивались на травяном мелководье, набираясь сил для речного разбоя. На выносе островка выбита в берегу ямка. Белеющие, ободранные корни ивы, осоки свисали в нее, их тоже опутывало паутиной и слизью. По означившемуся из воды мыску слоисто колыхалась, кисла гниющая водоросль, растекаясь ядовитой жижей. Я начерпал в форсистые туфли грязи, но до уреза реки добрался и заметил, что вся в струю втянутая вода на выносе раскрошена, раздроблена мальком, который тоже пасся и путался в обсыхающей, но еще не обсохшей водоросли. Чуть подальше, где стрелку воды завалило вбок, путало, ворочало высокой водой и вспенивало на струе, мелочь

не шустрила, не плескалась, значит, там кто-то стоял и караулил ее. Окунь? Судак? Не совсем еще отмякший от бодрой, зимней воды налиим? Отнерестившаяся щука? Жерех? Голавль? Или совсем мне неведомая в зелени путающаяся вимба, чтоб ей пусто было! Она, эта вимба, в моем рассуждении смахивала на золотую рыбку, попавшуюся в сети простофиле-рыбаку, жившему "у самого синего моря", и даже на недоступную шамаханскую царицу, только водяную. И еще, с рождения своего плеще всего на свете боящийся змей, я опасался угря. Вдруг выползет из воды, гад? И хотя Гарий уверял меня, что угорь – тварь безвредная, некусачая и появляется здесь позднее, в теплую пору, все же тоскливо озирался на всякий всплеск и шорох, вглядывался в проплывающие предметы: черт его знает, этого угря, – в нашем веке все, что прежде не кусалось, может укусить, кто даже лап и копыт не имел – лягается, безъязыкие – ругаются либо доносы пишут, жены мужей грызут и пилят, мужья жен с детьми бросают на произвол судьбы, те приемам каратэ обучаются, чтоб от мужиков отбиваться или нападать на них, – не поймешь. Так что угорь, которого я отродясь не видел, тоже мог взять меня за ногу да и стащить в стремнину. Под эти совсем невеселые мысли первую и сильную поклевку, случившуюся на стыке тихого и бурного течения, я прозевал. Была она, как всегда, неожиданной и очень близкой от берега, где, кроме гальяна и ерша, никто не мог клюнуть. Но все же я насторожился, пытаюсь отрешиться от опасностей, внушал себе: подумаешь, всего-навсего угорь какой-то, и на второй поклевке подсек рыбину очень сильную, верткую, которая тут же и сошла с тупого крючка, с узластой лески Гария, напутанной на ржавую катушку. Более катушкой я не пользовался и, когда последовала поклевка, сделал подсечку, попятился на берег да и заволок в гнилую траву белую рыбину фунта на полтора весом, похожую на сижка, может и на подлещика, но даже отдаленно не напоминавшую хариуса. Я забил рыбину об камешек и, поскольку не было у меня никакой посуды, бросил ее под куст, в мокрые кочки, пробитые на прелых макушках свежими побегими травы, будто малокалиберными, только что отлитыми пульками. Клевало у меня отменно. Я добыл девять рыбин почти одинакового веса и столько же, если не больше, отпустил из-за удочки этой клятой, вошел в азарт, ругался сквозь зубы, измазался в слизи до колена, вытер руки о белую рубаху, заляпал нос, слепил волосы на голове. Комары ели меня как хотели, но я не слышал комаров, и со ловьев не слышал, что распелись в ночи так ли слаженно, так ли отточенно по обоим берегам, куличков-то с плишками заметил, когда они подлетели совсем близко. Долго они причитали в стороне, должно быть, яички где-то в камешниках снесли иль хитрую засидку на мыске соорудили, а меня именно сюда черти принесли... Я не смотрел на птичек, не пугал их человеческим взглядом, и они свыклись со мной. Плишка вздремнула на камешке, но и во сне раскачивалась хвостиком, тревожась. Куличихи, скользя над водой, норовили угодить под удилище; зимородочек, зеленой жемчужинкой повисший на конце удилища, известил коротким цырканием реку, что я ничего, не деруся, не луплю из ружья по всему, что летит, плывет и ползает, даже никого, кроме Гария и его удочки, не ругаю. Плишки, кулички безбоязно кормившиеся на мыске, пятнали жидкий ил крестиками лапок, издырявили клювами жижу водорослей, будто моль шерстяную шаль. Дырки от лап быстро заполняло чернильно-синей мутью. В грязных луночках возились, опрокидывались вверх медно сверкающими брюшками мальки – пожива ворон, чаек, уток, но крупные птицы на ночь запали в болотах и перелесках, только одинокие чайки редко возникали из тумана сонной тенью и куда-то неслышно умахивали. Косачи, с вечера опробовавшие голоса, должны были вот-вот затоковать в лесных прогалинах по ту сторону Даугавы. Там всю почти ночь капризничал на озере пьяный от весны и беспутства кряковый селезень, ругая очередную жену за плохое обслуживание. Уточка смиренно уговаривала господина своего не гневаться, уснуть, сберегая силы и нервы, потому как серых этих уток, пролетных женок, способных только яйца класть да детей высидывать, доплна. А он, красавец ненаглядный, мушшына из мушшын, один такой на всю округу, и она, недостойная, похотливая кряква, все понимает, ценит, ни на что, кроме любви, не претендует и впредь постарается ублажать его еще лучше, будет выбирать для кормежки озерины безопасней, станет доставать ему со дна корешки еще более витаминные, чтоб не стыла его неистовая кровь в жилах, чтоб леталось ему весело, чтоб жизнь его беспечная шла еще беспечней, да она и совершенно уверена, что если не справится со своей ответственной задачей, все прибалтийские утки – да только ли прибалтийские, и соседские, белорусские – тоже готовы лелеять его и, если потребуется, грудью прикрыть от заряда дробы, как бывало на фронте у людей. – Ну, чьто у тебя? – спугнул меня голос Гария. Не дожидаясь моего ответа, он побрел через протоку, означилась его фигура темной тенью из когда-то сгустившейся, с туманом воссоединившейся сумеречи, в мокрых резиновых сапогах, с мокрой сигаркой в зубах, с двумя измызганными до посинелости сорожинами в плетеном, для показухи сделанном садке, произведении ручного искусства. – Вимба прошла. Мы опоздали, – уныло известил Гарий и,

заметив моих рыбок в кочках, сунулся туда носом. – Вечно везет этим Иван-дурак! – потрясенно прошептал Гарий. – Ты же поймал девять вимба! – И заорал на всю округу: – Волея! Ренита! Товарищ рыбаки! Он поймал девять вимба! Девять, говорю! Он не понимает своего счастья... Трепетной рукой Гарий складывал рыбешек в садок. Целуя каждую рыбку в скользкое рыльце, он страстно восклицал: "Ох, моя вимбочка! Красавица ты моя ненаглядная!" Если б докторша, по имени Ренита, оглушающая храпом берег реки Даугавы, удостоилась таких же нежных излияний, она бы и спать не захотела, она бы, уверен я, приревновала Гария к рыбе по имени вимба. – Ты прости меня, пошалуста, – сложив рыб в садок и поуспокоившись, попросил Гарий непривычно смиренным голосом. – Я говорил "Иван-дурак" не о тебе конкретно, а вообще об Иван-дурак... Порассуждав немного таким образом о дружбе народов, Гарий сказал, что журнал под таким названием есть, но его, Гария, там не печатали и печатать не будут. Вот отчего перешел он из поэзии в живопись, пишет маслом родные просторы, реки и озера, тучные колхозные поля, наловчился подражать импрессионистам – и картины его охотно покупаются – "тураки не перевелись, на мою творческую жизнь их вполне хватит". Здешние рыбаки не варили уху и не понимали всей поэзии и смысла настоящей, усладу души создающей обстановки вокруг котелка с ухой. Они разогрели на сковородке мясные консервы, и Гарий стал кричать свою спутницу к огоньку. Ренита вышла с полотенцем через плечо, в блекло-серебристых трусах, которые назывались шортами, в трикотажной безрукавке, натурально и прозрачно обозначающей все ее грузно налитые тела. Сбросив тапочки, преодолев робость, она забрела по колени в воду, хлобыстнула на себя ворох воды, охнув присела, взвизгнула, что дисковая пила, попавшая на сучок, – река подалась из берегов и тут же смиренно притихла, с мурлыканьем обтекая необъятное горячее тело и греясь от него. Выйдя на берег, Ренита спряталась за палатку, в черемухи, "Как у нас в саточке, как у нас в саточке роса расцвела", – напевала она и одновременно глушила комаров, ахая по телу своему ладонью, будто совковой лопатой. И вышла на костер, лучезарно улыбаясь, румяная, свежая, в ситцевом платье с девчоночьими оборочками. – Тавно я так хорошо не спала, – хрупнув платьем и всем, что может и не может хрупать в человеке, не открывая блаженно сомкнутых глаз, потянулась она. – Приро-та! – и потрепала Гария по лохмотам. Заметив сковородку с жаревом, закуску, нарезанную и разложенную на чистенькой скатерке с национальным орнаментом по кайме, докторша томно пропела: – О-о-о, этот материализм мне нравится! Сон на природе и обильная еда шли на пользу этой женщине и на глазах улучшали и без того добродушный ее нрав. Хорошо закусив, спутница Гария откинулась на раскинутый на берегу клетчатый плед, закинула руки за голову, и глубокий стон истомы, нетерпеливое предчувствие наслаждений донеслось до нас из недр недюжинного создания природы. – Но, но! – остепенил ее Гарий. – Не забывай, што сдесь люти, мушчины между прочим. – Ты так думаешь? – жуя какое-то зеленое сено, проворковала Ренита. Гарий захохотал и, показывая пальцем на Рениту, патетически прочел стих-эпитафию: Здесь спит Мария Магдалина, Была красавица лиха. Прохожий, если ты мушчина, Пройди подалее от греха! – Ха-ха-ха-ха! – зашлась в сытом и довольном смехе Ренита. Платье на ней затрепыхалось всеми оборками, под платьем все так заходило ходуном, заперекатывалось, что я и глаза закрыл, ожидая взрыва с громом. Гарий рванул на себе рубаху и указал Рените под черемухи, на палатку, заверил ее, что скоро будет. Пальцем погрозив Гарию, Ренита удалилась от костра, постегивая себя веткой по голым икрам, облепленным редким в этот час, но все же ее сдобное тело учуявшим комаром. Был предутренний час. Наверное, предутренний, потому что ночи настоящей, темной так и не наступило, или я ее прозевал в азарте рыбалки и созерцания здоровой, жизнерадостной женщины. Соловьи так и не унимались, трели их сделались вроде бы еще звонче и отчетливей, да и прибавилось как будто птиц по берегам, в кустах и деревьях. Пели они из белого поределого тумана, в котором белыми же, но отчетливыми тенями проглянули самосевки-полосы. Вдоль реки, то рассыпчато подступив к самой воде, то островками, то полосами, по межам, в грядках каменье цвели черемухи, дикие, полусухие, так и сяк изогнутые яблоньки, спутанный терновник, куцелапые, приземистые груши, одичавший вишеник, черешни со сломанными на дрова вершинами и окостенелыми братними стволами, тонкоствольные сливицы, и еще, и еще что-то, да все лохмато, все ароматно. Земля с повсюду выступившим из нее серым и рыжим камнем выслала на береговое приволье все, чем она могла украситься, – ей здесь, на побережье, никогда не разрешалось проводить время в праздности, потому что каждый клочок бедной прибалтийской земли должен был работать, производить жито, пшеницу, ячмень, картофель, фрукты и овощи. Однако земля, как и всякое живое место и существо, не могла обходиться без наряда, потому, хоть и украдчиво, поодаль от деловитого крестьянского взгляда угрюмого хозяина, летней порой обряжала себя, где могла, отыскивала, пусть и укромный, уголок, полоску по бережкам рек, прудов и озера, даже на обочинах полей, как бы заключивших квадрат земли в каменные латы,

пробовало расти и цвести разнотравье: пустырник, крапива, борщевник, морковник, чертополох, серая полынь. Кусты, как и травы, все больше колючие, среди которых самым нежным, беззащитным недотрогом малинился шиповник. Был исход весны. По припоздалости, пожалуй что, и середина ее. Все жило и цвело по своим, календарем не учтенным срокам, и, когда совсем остыл и ушел на запревающие заречные болота туман, берег наш оказался в пене сдобного, росю взбодренного, желтого теста. Словно прижимистая хозяйка с зимы копила куриные яйца, прятала их в туеса и лукошки, не давала детям даже поутру и вдруг расщедрилась и на светлый весенний день несчетно наколола их, взбила мутовкой в тесто для куличей, да взяла и вывалила такое добро на берег Даугавы. Я вырос в стране причудливых и дивных цветов, в Сибири, где в начале лета, да и в разгар его, земля не цветет, а буйствует, заливая себя в три, в пять слоев разноцветьем, но такого праздника первоцвета, такой сдобной роскоши, такой бодрой петушиной стаи не видел нигде. И когда я сказал, что первоцвет зовут у нас петушком, едят его стебельки, мягкие листья пускают в салат, да на глазах у латышей изжевал сочный стебель петушка, Володя и Гарий умилились. – Каждому своя родина – самая прекрасная земля, и нельзя человеку бес нее... – засаженым голосом вытолкнул из себя Гарий и отвернулся от нас. Когда я потряс Гария добычей вимбы, он не заклокотал от черной злости, не проникся тихой ненавистью ко мне, как это бывает на рыбалке у людей с неустойчивой психикой и мелкой завистью. Наоборот, он проникся ко мне такой доверительностью и такой радостью наполнился от того, что вот его родная земля Латвия не подвела, оправдала надежды, одарила гостя и добычей, и красотой, да и полез за пазуху, вынул оттуда конверт с иностранными штампами, марками, почтовыми знаками: – Чьто?! Я являюсь знаменитый филателист. Меня вся Латвия знает, может, еше дальше!.. В конверт были вложены хрустящие пакетики, и оказались в них не порошки, а крючки с колечками, и такие крючки, каких мне видеть не доводилось – позолоченные, с резвым загибом и беспощадным отгибом. – На такую уду, – с благоговейной боязливостью покатав один крючок, будто самородок, на ладони, – и клевать не надо! Его только понюхаешь – и готово дело! – заключил я. – Совершенно правильно! – подтвердил Гарий и на мой естественный вопрос: отчего же он не показал мне эти невиданные крючки раньше? – смущенно пояснил, что и на самом деле не верил в мои рыбацкие способности, потому как все литераторы, побывавшие с ним на рыбалке, на словах только лихие рыбаки, на самом же деле – што попало.. Один знаменитый поэт поймал себя за губу и, пока довезли его до района, едва не помер, ругательски ругал заморские крючки, которые впиваются с буржуазной алчностью, беспощадной хваткой имеют советского человека и есть это не что иначе, как идеологическая диверсия.. Крючки оказались на самом деле буржуазные, только не заморские – заокеанские, в Австралии у Гария живут родственники, один из них будто бы чемпион мира по любительской рыбалке и тоже знаменитый филателист – он-то и научил Гария рыбачить и собирать марки, посылает их из дальней страны до сих пор, иногда кладет в конверт рыболовецкие крючки редкостной красоты и качества. И дал бы мне их Гарий, если б не поэт, попавшийся на крючок и посчитавший это зловонным происком империализма. Однако теперь, когда он, Гарий, убедился в моей рыбацкой смекалке, уверился, что мне можно доверить даже буржуазные крючки и я на них не попадусь ни в прямом, ни в переносном смысле, он их мне сам привяжет, и садок под рыбу отдаст, Рениту даже отдал бы – таким он братским чувством ко мне проникся, но боится за меня – докторша нравом круче вимбы, и пока что один лишь Гарий может ее подсекать, заводить в тиховодье и, вытащив на берег, укрощать. Торжественное, может, и неловкое молчание охватило нас. Мужчины же хоть и разных национальностей, да одинаково стесняемся душевных излияний. Может, Гарий думал в ту минуту о родственнике, живущем в Австралии. Он хоть и чемпион мира, живет небедно, судя по дорогим крючкам, маркам, мечтает, однако, хотя бы быть похороненным "дорогая, любимая родина". Чтoб заполнить неловкую паузу, от благодарности к моим попутчикам, к этой реке, одарившей меня добычей, доставившим мне радость общения еше с одним уголком нашей многоверстной терпеливой земли, я стал хвалить латышей за трудолюбие, за опрятность и честность, за то, что на такой скудной, каменистой почве умудряются они выращивать хорошие урожаи. Гарий ушел в палатку, под черемуху. Он все-таки думал о родственнике, живущем в Австралии, – заключил я про себя, – и не только о нем. Володя разобрал сиденья в машине, наладил постель, пригласил меня спать, но я сказал, что хочу посидеть у огонька, и он оставил меня в покое. Подживляя огонек, я полулежал на раскинутом пледе, смотрел, думал, ждал теплого утра. И было мне покойно на душе и немножко сладко и слезливо от той все утишающей грусти, которая лучше всяких лекарств лечит сердце от раздражения. И думалось, что земля наша едина, и соловьи поют всюду, где они есть, во славу мира и любви, наверное, и в Австралии поют то же и так же, но как тогда мы умудрились разделиться не только по языкам, но и по нравам, точнее, по кем-то и зачем-то внушенной норовистости, и каждый, или почти каждый, считает себя лучше другого,

да вот его-то самого-то кто-то тоже считал или считает хуже себя, и должно доказать на кулаках, что это не так, что все совсем наоборот – своротит брат брату скулу набок и удовлетворится превосходством хотя бы в мордобое. Незаметно и согласно я утих в себе. Вкрадчивая благодать овевала меня запахами наутреннего, еще сонного цвета и растущей, набирающей силу травы. Река была покойна и вроде бы нетороплива, ничто не тревожило ее высвобожденной от тумана глади – ни рыба, ни птицы, даже крякаш в болотах перестал браниться, уснул, видать, положив голову себе под теплое крыло или на шею мягкой и доброй подруги. И она перебрала, причесала, смазала жирком каждое яркое перышко на его беспутной и чудо какой красивой голове. Под пенье соловьев, под шелест полузатопленного ивняка, шевелимого убывающей водой и торопящегося с листом, под шипенье смиренного огонька, золотым оком светящего в мировые бездонные пространства с этой доброй земли, наутро совсем усмирелой и мудро печальной, с этого цветущего бережка одной из бесчисленных рек планеты нашей, пока единственной для нас, уснул я незаметно и проснулся от солнца, неназойливо и шаловливо шевелившегося на моем размягшем лице. Соловьи почти унялись, пели разрозненно, редко, как бы по обязанности. Рыбаки снова сидели каменными изваяниями на противоположном берегу и сторожили закидушки с колокольцами. Скоро проснулся Гарий, мимоходом брякнул лапидаром в машину так, что она задрезжала всем железом и качнулась на колесах. Володя привидением взнялся с сидения, в панике подскочил за отпетыми от дыхания стеклами, ударился в потолок машины и, схватившись за макушку, погрозил другу своему кулаком. Я спросил Гария, зябко передергивающего плечами и зевающего во весь рот, – не мешали ль им соловьи? Он тупо уставился на меня: – Какие соловьи? Ты что? – И, придя в себя, махнул рукой: – А-а, соловьи! Не тревожьте солдат, да? Комары нас тревожили. Как это у Коли Глазкова? – "Все неизвестности любви нам неизвестны до поры. Ее кусали муравьи, меня кусали комары!.." Утром Володя добыл еще пять вимб. Гарий со словами: "Совесть иметь?" – выжил меня с моего добычливого места, выдернул там четыре рыбки. Я поймал всего лишь пару вимб, но зато рыбины были крупнее остальных, и спутники мои сказали, что я не напрасно имею название – "сибиряк". Очень всем довольные, прикатили мы в Ригу. Где-то на окраине, похожей на все окраины современных городов коробками серых домов, мы высадили Рениту, она что-то по-латышски сказала Гарию, он лениво ей ответил: "Да, да, конечно", и, послав всем воздушный поцелуй, орезвевшая на природе Ренита проворно стриганула в подъезд, обсаженный кучерявым кустарником, и более не оглянулась – дома ее ждала "оч-чень строгий мама, до сих пор сапрешшающий ребенку кулять слишком поздно..." Володя отдал нам всю добычу им рыбу, сказав, что ему возиться с нею не хочется да и на работу надо. Тут только я узнал, что Володя – убежденный старый холостяк. Он хотя и прощал Гарию его мужские вольности, однако в глубине души не одобрял его, но, давно и по-братски привязанный к нему, по-братски же помогал и семье, и другу, относился к нему, как к неразумному дитю, которого нужно журить, но и оберегать надо от всяческих напастей. Гарий с удочками и с садком, набитым рыбой, шел по улице, и почти каждый встречный латыш останавливал его, восторженно вертел и нюхал садок, причмокивал языком, всплескивал руками. Гарий охотно останавливался, хвастался, кричал громче всех, из всего ора я различал лишь – "Вимба!". Половина Риги, во всяком разе центр столицы Латвии, был взбудоражен и сбит с равномерного движения. Возле большого фирменного магазина Гарий замедлил шаги и, глядя в сторону, поинтересовался – есть ли у меня деньги? Получив червонец, он сверкнул затуманенными было сном и усталостью глазами, разом пробудившимися, – "Одна минута!" – и исчез за тяжелыми старинными дверьми, на которых что-то было написано по-латышски, судя по цифрам, часы работы. Не было Гария долго. Я сморился на солнце у каменной стены, на нагретом тротуаре, подремывал стоя и меня толкали прохожие, ругаясь на непонятном мне языке. – Всегда, когда быстро нужно, много-много народу! – возмущенно закричал Гарий, облитый потом, вывалившись из магазина. – Извини, пошалуста. На спиннинге, который мы так и не вынимали из связки удочек, болтался обрывок лески, и не было посеребряной, почервленной блесны, присланной, как говорил Гарий, тоже из Австралии его родственником-эмигрантом. Я поинтересовался – где же блесна? Гарий сердито сообщил, что на нее в магазине поймалась "шэншына". – Как поймалась? За что? – остановился я, ошарашенный, посреди тротуара. – Как, как? Са шопу поймалась! Вечно эти шэншыны лезут куда попало и цепляются за все! – ругался Гарий. – На эту блесну рекордно брала шшука – и вот... Он, Гарий, тихо-мирно стоял в очереди в кассу. Удочки в руке – забыл их мне оставить, не выпался же, совершенно ничего не соображал. Потом пошел в отдел получить почки, – его жена так прекрасно готовит их. Потом он решил купить "тевочкам"-дочерям мороженое, поскольку еще оставались деньги, побаловать жену – взял пару апельсина, чтоб не так стыдно было за ночь, проведенную "с друкой шэншыной на природе". И по мере того как он кружил по магазину, приобретал покупки и расталкивал их по карманам,

в магазине нарастал гул возмущения, на который Гарий сначала не обращал никакого внимания, думая, что выкинули дефицит и народ волнуется из-за этого. И не сразу, конечно, но все же обнаружил, что покупатель опутаны леской и пытаются из нее выбраться. У одной женщины сзади на платье почему-то прилепилась блесна, и, присмотревшись, Гарий узнал свою блесну, потому что такая блесна всего одна не только в Риге, но и на всем побережье. Еще он обнаружил: почти вся леска, очень крепкая, дорогая, потому что у "моряков" купленная, с катушки смоталась. Ну что ему оставалось делать? Он вынул из кармана складник, обрезал леску и поступился блесной. – Сто метров леска пропала! Блесна пропала! У-у, эти латыши! Чьто са нарот? И ругался Гарий, и шумел, когда его останавливали знакомые, он продолжал ругать их, они не обижались, они хохотали, а Гарий пожимал плечами. Дома он нежно поцеловал жену в щеку, показал улов, заявил, что устал невероятно, спросил, как здоровье девочек, велел спрятать в холодильник мороженое для них и очень уж заметно юлил, бурно выражая чувства. Обрадовавшаяся нашему приезду жена покачала головой: – Гарий, ты опять? – и прижала апельсина к лицу. – Чьто ты? Чьто ты! Как я могу? У нас же гость! Ну, спроси у него, спроси!.. Ты кушать стафь. Мы так проголодались. Хотя постой. Ты права. Как всегда, права. Я действительно поймал шэншына! На блесну, представляешь?! – И пошел весело рассказывать, как он зарыбачил в магазине женщину, как запутал леской покупателей, и жена его, милая, рано старящаяся, накрывая на стол, произнесла со вздохом: – Гарий, Гарий! Ты когда-нибудь сам поймаешься... Пока жена собирала на стол, Гарий трижды мне поставил мат на шахматной доске, сказал, что совсем неинтересно обыгрывать дураков, и стал показывать коллекцию марок. Тут, у Гария, я впервые увидел и понял, что марки – это целая наука, что прекрасна его коллекция и очень дорого стоит. Жена Гария приготовила почки куда с добром, и все другое было сварено вкусно, красиво подано на стол, хотя еда и куплена на гроши, заработанные женой за швейной машинкой и на случайные, нечастые заработки Гария. На всем жилье, на всей квартире Гария лежала печать бедной опрятности, и две долговязые девочки с милыми и, как у матери, печальными лицами, будто срезанными с нарядных древних католических икон, были одеты в перешитые платьишки, обуты в подбитые в уличной мастерской башмаки. И рыбу, догадался я, друг Гария, Володя, отдал совсем не по прихоти и случайности – он давно уж, видать, "незаметно" тащил в этот дом всякую добычу, да и не только добычу, и не только он. У Гария друзей пол-Риги, и не все они приходят сюда только в шахматы играть и смотреть его картины и марки. Широко, раздольно сидел за столом Гарий, трепал девочек по бантам. "Ах вы, мои крошечки! Ах ты, шонушка моя естинственная!" – ворковал хозяин, и я видел, что он верил в то, что говорил, искренне верил, и забыл про всех и про все – какая легкая и безоблачная натура. И когда жена сказала: – Скорей бы ты состарился, – и потаскала его за лохмоты на голове, он поспешно и с радостью подхватил: – Да-да! – И, все более возбуждаясь, начал мечтать. – Надо продавать коллекцию марок и покупать самолучший цветной телевизор. Японский! Да, японский! У моряков. – Он крепко обнял свою жену. – Будем сидеть, милая моя шонушка, твоя старушка, смотреть телевизор. Шахматный выпуск. Музей. Футбол. Рыбаков. Про филателистов тоже... Хорошо! Жена Гария грустно сказала, что он же не сможет жить без стихов и картин, без друзей, без гулянок, без шахматного клуба, лишившись коллекции марок, тут же запросто умрет. – Ну и чьто? – с тихой печалью молвил Гарий. – Сразу два хороших дела получится. Кончатся ваши мученья и останется замечательная вещь – цветной телевизор. Однако скоро он стряхнул с себя меланхолию, заграбастал всех своих женщин, тряс лохматой головой, пробовал потрафить мне, запевши, как ему казалось, самое близкое моему сердцу вокальное творение: "О-о-ой, ма-а-арос, ма-аро-о-о-ос, не маро-ось меня-а-а..." – и тут же прервался, передернув плечами: – Когда я пыл большой и оч-чень строгой командирофка, там был страшный морос. И меня согревала моя торогая шонушка. – Тут он поцеловал жену со звуком. Ах, Гарий, Гарий! Уж двадцать с лишним лет минуло с той поры, как мы ловили вимбу на реке Даугаве, а я все вижу так ясно, так свежо. Чьто-то есть в этом человеке, роднящее его с моими земляками – гулевыми, раздольными, порой преступно-легкомысленными и безответственными. Но что делать с сердцем? "Дома продают, поля продают. Пьют вино беспробудно. Так погибают люди деревни моей. Чьто же сердце мое влечет меня к ним?" – это написал еще в тысяча девятьсот втором году японский поэт, умерший от чахотки в лермонтовском возрасте, с печалью подтвердив еще раз ту истину, что сердце приемлет и впускает в себя людей и любовь к ним без выбора и указаний, и человек может и должен жить только по сердцу своему, и я люблю своих земляков такими, какие они есть. И Гария люблю. Ни годы, ни расстояния, ни умные назидания моралистов, ни дурные слухи и выходки его не могут убить во мне светлых воспоминаний о нем и доброго расположения к нему. "Сердцу не прикажешь" – это истина истин, ведомая всякому люду, и все попытки ниспровергнуть ее, порождают лишь бессердечие. Изредка я

Астафьев Виктор Петрович Вимба astafevvictor.ru

получаю от Гария торопливо написанные письма с вложенными в конверт стихами. Однажды получил пейзаж и узнал то место и реку, где мы ловили рыбу вимбу. Пейзаж висит в моей деревенской избышке, над моей кроватью. Я смотрю на него и думаю о многообразности человеческой жизни, о необъятности чувств и характеров. А из семьи Гарий ушел, оставив своих "крошек-тевочек и етинственную шонушку". Ушел к врачихе Рените, потому что девочки выросли, вышли замуж и определились в жизни, а у Рениты "совершенно нечаянно" получился ребенок и его надо "помогать воспитать". – Ах помощник, ах воспитатель! Вышли у Гария две книжки, подборка его стихов наконец-то напечатана в "Дружбе народов", но переводчики, но заключению поэта, так ловко обошлись с его стихами, что осталась в них лишь половина "прафта". Была выставка картин Гария в Риге, в пригородных курортах города Юрмалы. И стихи, и картины его пользуются успехом, много картин было куплено с выставки, все оттого, что он перестал подражать даже импрессионистам, пишет, как ему хочется и чего хочется. Он уже дедушка и теперь может помогать девочкам и внукам материально. Бывшая его жена замуж не выходит, объясняя это тем, что после такого великого человека не может ни с кем быть, неинтересно ей с другими мужчинами, и, когда "совершенно нечаянно" получился у Рениты ребенок, она водилась с ним так же, как с внучатами, и кого звать мамой, кого бабушкой – "ребенок совсем сапутался", потому и зовет обеих женщин "мамой". Они, две "мамы", очень балуют сына, и это беспокоит отца. Кабы из сына не получился стилига и диссидент, которого сманят "буржуи-родственники" в Австралию. Что касается блесны, так нелепо утраченной в магазине, то ему прислали еще лучшие блесны, и те самые "буржуйские крючки", на которые попался губой уже теперь незначительный поэт. В одно из писем была вложена семейная фотография с двумя усталыми женщинами, с нарядными дочерьми и зятьями. Меж жен и зятьев сидел Гарий с внуком и внучкой на коленях, чопорно сжав расползающиеся от улыбки губы, все такой же лохматый, большой, но уже седой, сухолицый. "И что же ты не едешь ловить вимба, – писал Гарий, – осталось ее совсем мало. Попадаются единицы, и ты можешь не застать замечательной рыба". Могу, Гарий, и не застать. Могу. Я нашел ее, вимбу, в книге Сабанеева – она называется по-древнему выразительно – сырть и водилась когда-то почти во всех реках Средней России, но рыбы той так давно уже нет, что на родной стороне утрачено даже ее название.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!